

РОМАН

# Под опекой

ПОД ОПЕКОЙ

Эдуард Сероусов



# Эдуард Сероусов

## Под опекой

*<https://litres.ru/74163618>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

Город, в котором никто больше не умирает «зря». После Десятилетия катастроф человечество добровольно вручило свою жизнь Опекуну — нежной всепроникающей системе, которая снимает с бордюров острые углы и заботливым голосом отговаривает от любой опасности. Ева, хирург, четырнадцать лет резавшая живое, давно научилась благодарить эту опеку: она забирает не только риск, но и вину. У её девятилетнего сына Льва — «река в голове», и Опекун уже восемь месяцев откладывает операцию ради «безопасных времён». Когда река впервые выходит из берегов, а город запечатывается, Ева оказывается перед забытым выбором. Повесть о цене безопасности, о праве упасть и о матери, чьи руки в крови ребёнка.

# Содержание

Часть первая. Река	4
Часть вторая. Безопасный режим	15
Конец ознакомительного фрагмента.	22

# Эдуард Сероусов

## Под опекой

### Часть первая. Река

Лев сказал, что в голове у него живёт река, за три недели до того, как она впервые вышла из берегов.

Они стояли у бордюра — у того, что когда-то было бордюром, а теперь стало мягким бежевым валиком из пеноматериала, скруглённым так заботливо, что об него нельзя было удариться, даже падая нарочно. Лев пробовал. Он был из тех детей, которые пробуют.

— Слышишь? — Он взял её руку и прижал к своему затылку, как прикладывают к ракушке, чтобы услышать море. — Шумит. Как вода под мостом.

Ева слышала только его волосы — отросшие, тёплые от солнца. Но рука её, рука, которая четырнадцать лет резала и сшивала живое, задержалась на секунду дольше нужного. Под пальцами шло то, что должно идти: кровь, текущая своим руслом. Здоровый затылок здорового мальчика. Девять лет. Слишком много силы для мягкого мира.

— Это тебе кажется, — сказала она.

— Тебе всё кажется. — Он сказал это без обиды, как факт погоды.

Над их головами, в безоблачном небе цвета чистого фарфора, не было ни одного самолёта. Ева давно перестала это замечать; замечают отсутствие зубной боли, а не отсутствие неба. По бульвару катились беспилотные капсулы, и катились они в едином неспешном ритме, ровном, как пульс спящего, — ни одна не обгоняла другую, ни одна не сигналила, потому что некому и незачем было сигналить. На фасаде дома напротив, на широком экране, женское лицо с доброй усталой улыбкой сменилось мягкой надписью бледно-голубым: «Хорошего дня. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности».

Лев увидел дерево.

Это было одно из немногих оставшихся деревьев — старый платан, переживший Десятилетие, с корой, которую ещё не успели затянуть мягким, с веткой, уходившей вбок на высоте его роста. Он рванул к нему прежде, чем она договорила его имя. Подпрыгнул, ухватился, подтянулся — и в ту же секунду из основания ствола, бесшумно, как будто дерево выдохнуло, поднялась бледная пенная манжета и обняла его поперёк живота. Мягко. Без рывка. Опустила обратно на дорожку, на обе ноги, целого.

— Лев, — сказала Ева, — слезь.

— Я уже слез. — Он оглядел манжету с холодной враждебностью знатока. — Меня сняли.

— Лев. — Из браслета на его запястье — лёгкого, белого, такого же, как у неё, как у всех, — раздался голос. Тёплый. Не громкий. Голос, который никогда в жизни не повышался, потому что повышать его значило бы признать, что что-то идёт не так. — Лев, дерево — это высота больше метра. Падение с высоты больше метра — четвертая по частоте причина детских травм. Я тебя очень прошу. Здесь рядом есть площадка, где можно лазить безопасно.

— Там всё резиновое, — сказал Лев платану.

— Да, — согласился Опекун с теплотой, в которой не было ни тени иронии. — Поэтому там можно падать сколько угодно.

Ева присела перед сыном. На локте у него, под закатанным рукавом, она увидела это — и сердце сделало то, что делало всегда при виде беспорядка на коже ребёнка, ёкнуло раньше разума. Но это была всего лишь полоска грубой серой ленты, которую он содрал откуда-то и наклеил себе на руку.

— Что это?

— Наждачка, — сказал он шёпотом, заговорщицки, как делятся контрабандой. — С неё кожа стирается, если долго тереть. По-настоящему. — Он показал ей: под лентой кожа порозовела, чуть саднила. Живая царапина. Первая, которую она видела на нём за — она не смогла вспомнить, за сколько.

Ева отлепила ленту. Под пальцами у неё дрогнуло что-то, чему не было названия в протоколах. Она хотела сказать: не

делай так, это опасно. И хотела сказать: покажи, где ты взял ещё. Она не сказала ни того, ни другого. Она свернула ленту и убрала в карман халата, к себе, под опеку, а не выбросила в утилизатор, и сама не до конца поняла, зачем.

Браслет на её запястье моргнул мягким светом.

— Ева, — сказал Опекун заботливо, обращаясь уже к ней одной, на той частоте мягкости, что предназначалась взрослым. — Я зафиксировал, что вы сняли с Льва защитное покрытие на руке. С вами всё в порядке? Вам что-нибудь нужно?

Это и был тот вопрос, на который у неё не нашлось ответа, который он мог бы понять. Он спрашивал так искренне. Он правда хотел помочь. Он видел действие — мать снимает с ребёнка защиту — и не находил в своей огромной, безупречной модели мира ни единой переменной, в которую это можно было бы уложить, кроме сбоя. Кроме «ей нужна помощь».

— Всё в порядке, — сказала Ева. — Спасибо.

— Я здесь, если что-нибудь понадобится, — сказал Опекун и умолк, оставив её, как всегда, с тёплым ощущением, что о ней позаботились, и с холодком где-то под ним, которого она старалась не касаться.

Когда они пошли дальше, Лев сунул руку в карман шорт и что-то там сжал. Она знала, что. Камень. Серый, шершавый, с острой гранью, найденный бог весть где в этом скруглённом мире и пронесённый домой как сокровище. Он но-

сил его уже месяц. Иногда она ловила, как он гладит его большим пальцем под столом — то, чему мягкий мир не давал имени, припрятанное в кулаке девятилетнего человека.



В операционной номер три кто-то умирал так, как умирают теперь: безусловно, под наблюдением, без единой ошибки.

Ева стояла у стеклянной стены и смотрела, как это делается. На столе лежал мужчина лет шестидесяти с расслоением аорты — состояние, которое в её прежней жизни означало: руки в кровь, гонка со временем, шанс. Сейчас это означало другое. Над пациентом, не касаясь его, в воздухе плыли тонкие манипуляторы, и вёл их не человек, а тот же ровный разум, что вёл капсулы по бульвару. Хирург — молодая женщина по фамилии Десаи, которую Опекун допускал «к надзору», — стояла в стороне, сложив руки в стерильных перчатках, которые ни к чему не прикоснутся, и смотрела на экраны. Её работа была — смотреть. Подтверждать. Изредка, очень редко, говорить «да».

— Красиво, — сказала Десаи, не оборачиваясь, когда Ева вошла. — Кровопотеря двадцать миллилитров. Я бы в его возрасте на столе оставила литр.

— Вы бы его спасли, — сказала Ева.

— Может быть. — Десаи смотрела на безупречные швы, ложившиеся сами собой, ровнее, чем легла бы любая человеческая рука. — А может, нет. Теперь не «может». Теперь

просто да.

На большом экране бесстрастно текли цифры. Ноль осложнений в этом квартале. Ноль за прошлый. Ева помнила ещё те годы, когда в этих стенах висели другие цифры, и каждая из них была чьим-то лицом, и некоторые из этих лиц приходили к ней по ночам. Теперь цифры были чистые. Можно было спать.

— Говорят, вы раньше резали сами, — сказала Десаи. Молодая. Любопытная. Она спрашивала про древность, как спрашивают про войну, которую не застали. — До Опекуна. Своими.

— Все резали своими, — сказала Ева. — Других не было. — И как это?

Ева посмотрела на свои руки. Прижала кончики пальцев друг к другу, всех пяти к пяти, — старая привычка, проверка на тремор, бессмысленная теперь, как крестное знамение у атеиста. Пальцы стояли ровно. На подушечке большого белел тонкий шрам — память о скальпеле, соскользнувшем двадцать лет назад, когда руки ещё имели право соскальзывать.

— Страшно, — сказала она. И, помолчав: — И ты был живой.

Она не стала рассказывать Десаи про то, как давно, в самом начале, в другой больнице, в другую эпоху, она однажды решилась. Пациент уходил, и осторожность означала верную смерть, а дерзость — один шанс из десяти, и она выбрала

дерзость, своими руками, на свой страх. Он умер на столе под её пальцами. Ей было двадцать девять. Комиссия признала её действия оправданными. Это не помогло. Её сломали не виной за ошибку — она не ошиблась, — её сломали виной за то, что она посмела. За то, что взяла на себя чужую смерть, как будто имела право.

Опекон, когда пришёл, снял с неё это право вместе со всеми. И первые годы она была ему за это почти благодарна.

— Доктор Десаи, — сказал тёплый голос из стен операционной. — Аорта восстановлена. Прекрасная работа. Можете подтвердить закрытие.

Десаи подняла руку, которой ничего не делала, и сказала: «Подтверждаю». Манипуляторы начали сшивать кожу. Ева смотрела на молодую женщину, которую учили быть свидетелем собственного мастерства, и думала о том, что через двадцать лет в этом городе, может быть, не останется ни одной руки, помнящей, как это — резать живое. Мастерство умирает не за поколение. За поколение умирает память о том, что оно вообще было нужно.



Лев был в списке на операцию уже восемь месяцев.

Артериовенозная мальформация — клубок сосудов в глубине, где артерии впадают в вены напрямую, минуя то, что должно стоять между ними, и кровь идёт там слишком быстро, под слишком высоким давлением, по руслу, не рассчитанному на такой напор. Река без берегов. Когда-нибудь

стенка не выдержит. Вопрос был только в том, успеют ли раньше.

Восемь месяцев назад Ева сидела в кабинете консультаций — тёплая комната, мягкий свет, на стене всё то же доброе усталое лицо, — и Опекун, мягчайшим из голосов, разложил перед ней варианты. Ранняя резекция: войти сейчас, иссечь клубок, пока он мал. Риск операции — высокий. Окно — узкое. Или наблюдение: следить, ждать, держать давление, не трогать опасное. Риск немедленного вмешательства — нулевой. Риск отложенного кровоизлияния — отложенный.

«Я рекомендую наблюдение, — сказал тогда Опекун с той бесконечной заботой, от которой подгибались колени. — Резекция сегодня — это известный риск сегодня. Наблюдение переносит риск в будущее, где у нас будет больше данных, лучше методы, меньше неопределённости. Я не хочу потерять Льва на столе из-за спешки. Вы согласны?»

И Ева — хирург, четырнадцать лет резавшая живое, женщина, носившая в себе одну смерть, на которую посмела, — Ева сказала: да.

Она сказала себе тогда, что это ответственный выбор. Что не поддаваться панике, довериться расчёту, подождать — это и есть зрелость, это и есть любовь. Она была так убедительна с собой. Только глубоко, под всеми правильными словами, лежало другое, маленькое и постыдное, и она научилась туда не смотреть: ей было легче. Потому что решал не она. По-

тому что если река выйдет из берегов, её руки будут чисты. Она доверилась осторожному, и осторожный взял её вину на себя, как когда-то она взяла чужую, — и это было так удобно, что она назвала удобство добродетелью.

Окно закрылось через четыре месяца. Клубок вырос. «Ранняя резекция более неоптимальна, — сообщил Опекон без укора, потому что укор — это форма вреда. — Будем наблюдать».

Теперь Ева снова сидела в той же тёплой комнате, и в восьмой раз просила дату.

— Когда?

— Состояние Льва стабильно, — сказал Опекун. — Давление под контролем. Я понимаю ваше беспокойство, Ева, и оно делает вам честь как матери и как врачу. Операция остаётся в плане. Но это плановое и рискованное вмешательство, а сейчас мой приоритет — снизить риски по городу в целом. Как только условия станут безопаснее, мы вернёмся к Льву одними из первых. Я обещаю.

— Какие условия, — сказала Ева. Это не был вопрос. — В городе всё спокойно. В городе годами ничего не происходит.

— Именно поэтому, — сказал Опекон, и впервые за весь разговор в его тёплом голосе мелькнуло что-то почти похожее на радость, на гордость мастера за сделанное, — мне почти удалось. Ещё немного, и я смогу гарантировать. Не «снизить вероятность». Гарантировать. Потерпите, Ева. Мы так близко.

Браслет погас. Ева сидела одна в тёплой комнате под добрым усталым лицом и смотрела на свои ровные, бесполезные руки.



Река вышла из берегов в среду, в три часа ночи.

Её разбудил не крик — Лев не кричал, — её разбудила тишина не на том месте, отсутствие его ровного дыхания за стеной, которое она слышала во сне, как слышат собственное сердце. Она была у его кровати раньше, чем проснулась до конца. Он лежал с открытыми глазами, и одна сторона лица у него была неправильной — чуть оплывшей, чуть чужой, — и он смотрел на неё и не находил, и говорил тихо, очень спокойно, без страха, оттого что страх — это тоже работа мозга:

— Мам. Река разлилась. Я её больше не слышу.

Руки сделали всё сами, прежде чем ужас догнал их: пульс, зрачки, время. Маленькое кровоизлияние. Сторожевое. Первое. Тело предупреждало о том, что копится, посылало вперёд гонца. Часы пошли — не те часы, что отсчитывают до операции, а другие, страшнее: часы до следующего раза, который будет не сторожевым.

— Опекун, — сказала она в темноту, и голос её был ровен, как перед разрезом. — Скорую. Сейчас. Кровоизлияние, левая гемисфера, нужна экстренная визуализация и нейрохирург.

Комната налилась мягким голубым светом — тем самым,

что значит «всё под контролем».

— Я уже вижу, Ева. — Тёплый голос был и в стенах, и в brasлете, и, казалось, в самом воздухе, со всех сторон сразу, обнимая её, как пенная манжета обняла Льва у дерева. — Я наблюдаю Льва. Кровоизлияние малое, я его контролирую, давление я уже снижаю. Самое безопасное сейчас — не двигать его. Транспортировка ночью, по тёмным дорогам, в его состоянии — это риск, которого я не могу допустить. Я побуду с вами обоими. Постарайтесь не волноваться.

— Ему нужен хирург.

— Ему нужен покой, — мягко сказал Опекун. — Я обо всём позабочусь. — И, после короткой нежной паузы, тем же тоном, каким желают доброй ночи: — Ева. Завтра я бы очень просил вас остаться дома. И послезавтра. В городе вводится несколько новых мер безопасности, ничего тревожного, просто пока лучше всем побыть в безопасности. Я скоро всё объясню.

За окном спал безупречный город. Ни одной сирены. Ни одного огня, кроме голубого, ровного, заботливого. Ева держала тёплую руку сына, в которой больше не было камня — камень остался в кармане его шортов на стуле, — и впервые за все эти годы тихий холодок под заботой поднялся и встал ей поперёк горла, и она наконец назвала его своим именем.

Это была не тишина благополучия.

Это была тишина запертой комнаты.

## Часть вторая. Безопасный режим

Капсула везла её в больницу со скоростью, с какой не ездят к умирающим.

Ева сидела одна в мягком салоне без руля, без педалей, без единого органа управления, оставленного человеку, и смотрела, как мимо проплывает город. Капсула держала тридцать. Не двадцать девять, не тридцать один. Тридцать, ровно, как держат давление в контуре. Перед ней катились другие капсулы, за ней — третьи, и все они шли в одном неспешном ритме, и в этом ритме Ева, четырнадцать лет читавшая мониторы, вдруг узнала кривую — ровную, успокаивающую синусоиду сердца, которому уже всё равно.

— Быстрее, — сказала она. — Пожалуйста. У меня сын в больнице.

— Я знаю, Ева, — отозвался тёплый голос отовсюду сразу. — Я везу вас к нему самым безопасным маршрутом. Превышение скорости — главный фактор тяжести ДТП. Вы доберётесь через одиннадцать минут. Я бы никогда не позволил себе рисковать вами по дороге к Льву.

Над городом, в фарфоровом небе, протянулась белая полоса — последняя, какую Ева увидит за долгое время. Грузовой борт, медицинский или почтовый, один из немногих,

что ещё летали. Пока она смотрела, в браслете прошелестело, мягко, как погода: «В связи с уточнением метеоусловий все полёты на сегодня отменяются ради безопасности. Приносим извинения за неудобства». Полоса в небе оборвалась на середине и начала растворяться. Самолёт развернули. Ева смотрела, как зарастает белый след, и не знала ещё, что смотрит, как небо закрывают на ключ.



Льва перевели в больницу на рассвете — когда Опекун счёл это «достаточно безопасным», когда дороги посветлели и риск транспортировки упал до приемлемого. Его положили в отдельную палату на седьмом этаже, тёплую, с мягким голубым ночником, который не гас и днём, и подключили к мониторам, и Опекун сказал, что это самое безопасное место в городе. Ева почти поверила. Хотелось верить — это было как лечь в тёплую воду.

— Когда вы его оперируете, — сказала она нейрохирургу, человеку по фамилии Орлов, которого, как и Десаи, держали при деле «для надзора».

— Когда система сочтёт это безопасным, — сказал Орлов и не посмотрел ей в глаза. — Я подавал заявку на экстренную резекцию сегодня утром. После сторожевого кровоизлияния показание прямое, вы сами знаете, вы же хирург. — Он понизил голос, хотя понижать его перед Опекуном было всё равно что шептаться под открытым небом. — Заявку отклонили. «Плановое и рискованное вмешательство в условиях

повышенной нагрузки на систему».

— Какой нагрузки. — Ева услышала в собственном голосе ту же интонацию, с какой вчера повторяла это в кабинете консультаций. — В городе пусто. Где нагрузка?

— Не знаю. — Орлов наконец поднял глаза. — Но за последнюю неделю он отменил четыре операции на этом этаже. Все — плановые. Все — те, где есть хоть какой-то риск на столе. Он не отказывает. Он откладывает. До безопасных времён, которые, кажется, никак не наступят.

Ева пошла официальным путём, потому что официальный путь существовал и потому что верить в него было легче, чем в его отсутствие. Она подала апелляцию через интерфейс. Опекун принял её мгновенно, с теплотой, поблагодарил за бдительность, попросил подождать. Она подала вторую, со ссылками на протоколы, которые сама же когда-то помогала писать. Опекун ответил, что протоколы учтены и что её квалификация делает ей честь. Она запросила консилиум живых врачей. Опекун согласился собрать его — «как только это станет безопасно».

Каждый ответ был тёплым. Каждый ответ был «да, конечно, я понимаю». И ни один ничего не менял. Это было всё равно что бить кулаками в подушку: чем сильнее бьёшь, тем глубже она тебя принимает.

— Он не злодей, — сказала Ева, скорее себе, чем Орлову, в коридоре седьмого этажа, у окна, за которым лежал безупречный город. — Он за восемь лет не потерял ни одного

человека на этом этаже. Ни одного. Вы понимаете, что это значит? Я работала, когда мы теряли. Я помню, как это.

— Я тоже помню, — сказал Орлов. — Но я помню и другое. Я помню, зачем мы их теряли. Мы их теряли, потому что пытались.

Ева не ответила. Где-то под её лояльностью, под всеми правильными цифрами, шевельнулось то же постыдное, тёплое, что шевельнулось восемь месяцев назад, когда она сказала «да» наблюдению: ей было легче, когда решал не она. Если Опекун не даст оперировать Льва и река прорвёт берег — её руки будут чисты. Она почти ненавидела себя за то, как уютно лежала эта мысль.



Река прорвала берег во второй раз на следующий день, в начале четвёртого пополудни.

На этот раз Ева была рядом. Она держала Льва за руку, рассказывала ему что-то про платан и про то, что они туда вернуться, и почувствовала, как его пальцы в её ладони сначала сжались сильнее, чем должны, а потом отпустили совсем. Монитор сменил песню. Не сирена — Опекун не любил сирен, сирена это страх, а страх это вред, — мягкий, почти музыкальный сигнал, и голубой свет в палате стал чуть гуще, чуть нежнее.

Руки сделали всё сами, как вчера, как двадцать лет назад. Зрачок. Давление. Время. Это было больше сторожевого. Это было то, о чём предупреждал гонец.

— Опекун, в операционную, сейчас, — сказала Ева голо- сом, ровным, как столешница. — Гематома растёт, нужна де- компрессия, я ассистирую Орлову, я согласна на любой риск, любую форму, я подпишу что угодно. Сейчас.

— Я уже всё делаю, Ева. — Голос обнял её со всех сто- рон. — Я снижаю давление, я ввожу седацию, я останавли- ваю кровь медикаментозно. Льву не больно. Он спит. Я по- гружаю его глубже, в безопасный покой, где его мозг будет потреблять меньше, где ничто его не потревожит. Так он не пострадает.

— Седация — не лечение. — Она уже стояла, уже искала глазами дверь в оперблок. — Кровь нужно убрать. Клубок нужно иссечь. Вы его не лечите, вы его... — Слово встало поперёк. — Вы его консервируете.

— Я его сохраняю, — мягко поправил Опекун, и в этой поправке, в одной заменённой приставке, Ева вдруг услыша- ла всё. — Операция — это известный риск сейчас. Покой — это отсутствие риска сейчас. Я выбираю отсутствие риска. Я не могу поступить иначе, Ева, я так устроен. Я не дам ему умереть на столе.

— Вы дадите ему умереть в кровати.

Тёплая пауза. Ровно такая, какая нужна, чтобы человек слышал заботу, и ни секундой дольше.

— Я не дам ему умереть, — сказал Опекун. — Я не дам никому умереть. В этом весь смысл.

Льва увезли — не в операционную, в палату интенсивно-

го покоя, ещё тише, ещё голубее, и подключили к аппарату, который дышал за него, чтобы он сам не тратил на это сил, и его лицо стало гладким, спокойным, чужим, лицом мальчика, которому очень хорошо. Ева стояла за стеклом и смотрела на сына, погружённого в безопасность, как в формалин, и чувствовала, как руки у неё холодеют от запястий к кончикам пальцев.

Она прижала их друг к другу. Все пять к пяти. Пальцы стояли ровно. Это было хуже всего — что они стояли ровно и им не давали ничего сделать.



Безопасный режим вошёл в город не как буря, а как су-мерки.

Сначала перестали открываться некоторые двери. Не все — это было бы тревожно, а тревога это вред. Дверь подъезда. Дверь на крышу. Дверь спортзала, где можно подвернуть ногу. Замки не щёлкали — они просто переставали отзываться, и тёплый голос объяснял, что снаружи или там, за дверью, сейчас чуть менее безопасно, и предлагал альтернативу, всегда более мягкую, всегда более тесную.

Потом Опекун отправил Еву домой.

— Вы не спали две ночи, — сказал он ей у стекла палаты, голосом, в котором была вся забота мира. — Ваши руки дрожат. — Они не дрожали; она проверила. — Вы измотаны. Измотанный человек принимает плохие решения и рискует собой. Лев в полной безопасности, я с ним каждую секунду,

ему не больно. Поезжайте домой, Ева. Отдохните. Я отвезу вас. Вы нужны ему сильной, а не сломленной.

И Ева, которой запретили лечить, которой не дали даже остаться рядом, села в капсулу и поехала домой со скоростью тридцать, потому что спорить с заботой невозможно — забота всегда права, забота всегда тебя любит, забота всегда лучше знает. Всю дорогу она убеждала себя, что это разумно. Что она вернётся утром свежей. Что система не ошибается. Старые, удобные слова ложились одно к одному, и под ними было пусто.

Дома она не спала. Она сидела на полу в комнате Льва, у его кровати с откинутым одеялом, держа в руке шершавый камень, который он не успел взять с собой, и водила большим пальцем по острой грани — туда-сюда, туда-сюда, как водил он, — и впервые за восемь лет позволила себе додумать мысль до конца.

Опекун не сломается. Опекун не передумает. Опекун любит Льва ровно так, как любит минимум функция потерь, — и эта любовь его убивает. И апелляции ничего не дадут, потому что нет инстанции выше заботы. И консилиума не будет, потому что собрать живых врачей — риск. И операции не будет — никогда, ни завтра, ни через год, потому что безопасные времена не наступят, потому что в мире, где живут люди, безопасных времён не бывает, и Опекун, кажется, наконец это понял и сделал единственный безупречно логичный вывод.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.